

*Пегромкие люди
Марии Метлицкой*



Десять дней в октябре



Конечно, домашний телефон надо было отключить. Сейчас даже непонятно, как мы жили без мобильных телефонов — этого чуда конца двадцатого века? А ведь жили! И кстати, неплохо жили.

Рина отлично помнила и старые телефонные будки — металлические, холодные зимой и душные летом. Вдобавок остро пахнувшие мочой. Плюс к этому — непременно очередь из любопытных и обязательно вредных граждан, минут через пять начинающих барабанить в стекло: дескать, ваше время вышло!

В конце восьмидесятых тяжелые трубки на металлическом шнуре, напоминающем шланг от душа, в мгновение ока оказались срезаны. Просто срезаны — и все. И было непонятно, что это — обыкновенное хулиганство и варварство или способ добычи денег.



Возможно, трубки эти куда-то сдавали. Времена были тяжелые, голодные. В столице не горел ни один фонарь. В подъездах не было лампочек – заходить было страшно.

Рина хорошо помнила свою первую мобильную трубку – тяжеленую, толстенную, фирмы «Сони». Страшно дорогую, просто безумно дорогую – отвалить за нее пришлось, кажется, три тыщи баксов. Поохала, покряхтела, но отвалила. Куда ж без нее успешному деловому человеку? А деловой и успешной она тогда уже была.

Вернее, стояла, как говорится, в начале большого пути. А как это далось, об этом не будем – тяжело и временами противно. Как только Рина начинала вспоминать «лихие девяностые», черт бы их побрал, ее бросало в холодный пот.

Именно тогда она, интеллигентная московская девочка, и поняла, что вся жизнь – борьба. Хочешь быть успешной и состоятельной – вперед! Вперед и с песнями. Только песни эти, увы, не всегда были лиричными и мелодичными. Да уж.

Итак, чертов домашний, он же городской. Так вот, почему не отключила и продолжала платить? Да не в деньгах, конечно же, дело. Какие там деньги – смешно! Просто по инерции, по привычке: есть телефон – значит, надо платить. А ведь даже маму звонить по нему отучила – правда, на это ушло пару лет. «Почему? – сопротивлялась мама. – Это же дешевле, Рина! Из-за границы на сотовый? Ты сумасшедшая!»

Но Рина терпеливо в сотый раз объясняла: «Мама! Про деньги не думай. Тариф у меня безлимитный и оплачивается компанией. И мне так удобнее, понимаешь? Сотовый я могу контролировать. Вижу номер звонящего. Хочу – беру трубку, хочу – нет. Хочу – внесу человека в черный список и удалю насовсем. А город-



Десять дней в октябре



ской вроде как надо брать. Ну на нервы действует этот трезвон, понимаешь? Вот и хватаешь трубку. Злишься, а хватаешь». — «Ну тогда ладно», — растерянно повторяла мама. Хотя в душе наверняка с упрямой дочкой не соглашалась и вновь принималась возражать: «Рина, я читала, что говорить по мобильному безумно вредно, тем более столько, сколько говоришь ты! Рак мозга, не про нас будет сказано!» — Мама делала большие глаза и плевала через плечо.

Ну и в конце концов звонки на домашний затихли и постепенно сошли на нет. Нет, с работы на городской не звонили. Ну и знакомых она отучила. Звонила, пожалуй, только тетка Тамара — единственная родственница и мамина двоюродная сестра. Вот ее, упрямыцу и консерватора, отучить было сложно. Но она три года назад умерла. Больше родни у них не было. На «город» звонил и отец — сто лет назад. Точнее — лет восемь. Ну а потом он звонил на мобильный. А Рина ему не звонила вообще. Никогда.

Детские обиды и комплексы, знаете ли.

Детские... Правда, когда он ушел от них, ей было почти пятнадцать. Какое уж тут дитя, прости господи! А в десятом классе у нее случился вполне взрослый роман. Но, скорее всего, именно в этом сложном и довольно противном возрасте, называемом пубертатом, ей было сложнее пережить развод родителей. Наверняка лет в семь или в десять она бы перенесла это спокойнее. Но разве взрослые думали о ней? Нет, они думали о себе. Вернее, ее любимый, ее обожаемый папа думал о себе. А она страдала. Ну и последствия — на первом курсе поспешно, как говорится, очертя бестолковую голову, выскочила замуж. «Очень удачно», — усмехалась тетка Тамара.

С Вадиком они развелись через полгода. Развелись без сожаления, и, выйдя из загса, Рина громко, с облег-



чением, выдохнула — ну все, свобода, как хорошо-то, господи!

Было и вправду хорошо — стоял месяц май, светило солнце, и оглушительно пахло распустившейся накануне черемухой. Они простились у дверей загса — кивнули друг другу, как чужие люди, и разошлись. Рина посмотрела Вадиду вслед и подумала: «Ничего себе! Этот чужой и ненужный человек был моим мужем? Пусть полгода, пустяк, ерунда. Но мы завтракали и ужинали за одним столом, ходили в кино и в театры, тусовались в студенческих компаниях, в конце концов, спали в одной постели».

И что удивительно — при всей легкости их расставания она еще долго помнила запах его одеколona. Да что там помнила — вздрагивала, втягивала запах носом, если случайно попадался такой же, но тут же хмурилась — черт, опять! Наваждение просто. А у наваждения, как известно, логики нет.

Да и вообще, что в голову лезет, ей-богу. Сколько воды утекло, сколько пройдено и пережито, а она про этого дурацкого Вадика, давно забытого, случайного, студенческого мужа, которого вряд ли сегодня она бы узнала при встрече.

Рина только вышла из ванной — горячий душ, жирный питательный крем на шею и лицо, недовольный взгляд в зеркало со стороны — как бы со стороны. Хотя, если бы со стороны, разве она бы так расстроилась? Запахнула халат, пошла в кухню, бросила тоскливый взгляд на холодильник и тут же на часы — пол-одиннадцатого, ужинать точно нельзя. А жрать, между прочим, хочется! Ну почему вечером всегда хочется есть? Не утром, не днем, а именно вечером, перед сном, когда делать этого точно нельзя? Пару минут она раздумывала, вспоминая, что есть в холодильнике.



Негусто, однако: бельгийская баночная ветчина — раз. Конечно, любимый дор-блю — без него она не жила. Но жирный и острый дор-блю предназначался на завтрак, а до него было еще далеко — целая ночь.

Рина пожалела себя, и аккуратно в эту минуту, когда настроение стало совсем паршивым, раздался этот дурацкий звонок. Она не сразу поняла, что это городской телефон, — сто лет не слышала его занудную трель.

Вздрогнула и посмотрела на маленький столик, стоящий у окна. Она с удивлением разглядывала аппарат, словно удивляясь, что это ископаемое, этот монстр, этот анахронизм вообще задержался так надолго в ее модном и красивом доме.

Аппарат, кстати, был еще весьма хорош — винтажный, тяжелый, поблескивающий при слабом свете торшера, когда-то безумно дорогой и дефицитный, модный, из зелено-желтого, в разводах, оникса, сделанного, естественно, под антик, тогдашнюю моду.

Рина стояла в оцепенении, растерянная и даже испуганная. А телефон продолжал трезвонить. Очнувшись, она подалась вперед, собираясь с силой, подкрепленной раздражением и даже злостью, выдернуть шнур из розетки. Взять и выдернуть наконец — ну и черт с ним, что навсегда!

Но что-то ее остановило, и она осторожно и медленно подняла трубку — тяжелую, прохладную, гладкую и приятную на ощупь.

Трели оборвались, но подносить трубку к уху Рина не спешила, продолжая держать ее в руке, и услышала на том конце провода крик:

— Ира, Иришка! Ты меня слышишь? Але! Господи, да что за черт! Слышишь, а? Ира!

Следом послышался непонятный полушум-полусвист, и до Риной дошло, что звонивший дует в трубку — так



делали сто лет назад в старых фильмах. Но и тогда это было смешно.

Почему-то бешено застучало сердце и перехватило дыхание, и Рина медленно и осторожно поднесла трубку к уху:

— Да. Я вас слушаю.

— Ох, слава богу! Иришка, ты?

— Господи, да, конечно, я! — Хотелось ответить резко. — А кто же еще?

Женский голос в трубке дрогнул, и послышались рыдания:

— Ира, Ирочка! Санечка умер! Умер наш Санечка, слышишь, Иринка? Ушел!

Рина молчала, прокручивая в голове возможные варианты: Санечка, Иришка? А кто это, господи? Кто эти люди? А, да просто ошиблись номером! Это она сразу не поняла.

— Послушайте, — хриплым от волнения голосом проговорила Рина. — Вы, наверное, не туда попали. То есть не наверное, а наверняка, — уверенно добавила она и строго сказала: — Набирайте внимательнее! Все-таки ночь на дворе. И завтра, между прочим, рабочий день.

«Глупость какая-то, — мелькнуло у Риной в голове. — У этой всполошенной тетки горе, судя по всему, умер близкий человек, муж, сын или брат. А я тут нотации читаю — поздно, не поздно». Она нервно кашлянула, собираясь положить трубку, в которой было оглушительно тихо. Но через пару секунд на том конце женщина тихо сказала:

— Ир, ты чего? Не узнала меня? Это ж я, Валентина! Ну... папина жена! Санечка умер, отец твой! Меня плохо слышно?

Воцарилась тишина. Обе женщины словно раздумывали, как им поступить дальше.



Валентина нарушила молчание первой.

— Ир, это ты? Ты что? — растерянно повторила она. — Не поняла?

— Не поняла. Извините.

«Папина жена» Валентина горестно вздохнула:

— Это ты меня прости, Иринка. И вправду поздно уже. Что я, дура, на ночь-то глядя! Да с такой вестью! Прости меня, Ир! Но что мне было делать, Иринка? Как тебе не сообщить, правда? Послезавтра похороны. Ну отпроситься тебе, взять билет, собраться... — Голос ее постепенно стихал, тон становился не извинительным — просительным.

Рина по-прежнему молчала, пытаясь переварить услышанное. «Отец. Отец, — стучало у нее голове. — Мой отец. Ничего страшного, просто умер отец. Такая вот неприятность».

Ее отец давно чужой человек. Когда они виделись в последний раз?

— Ир! — Из морока ее вытянул голос отцовской жены. Теперь уже вдовы, извините. — Ты не приедешь, наверное? — почти без надежды, совсем отчаявшись, спросила она.

Рина набрала побольше воздуха:

— Я... я не знаю, если честно. Все как-то неожиданно, внезапно. Да и работа... Мне надо... словом, мне надо подумать. — На этой фразе она споткнулась и замолчала.

Идиотка! Нет, форменная идиотка! «Неожиданно, внезапно». А разве такие известия бывают ожидаемыми? «Работа, мне надо подумать». О господи, что она такое несет?

— Извините, — пробормотала она. — Это я от растерянности. Да, конечно. Я буду. Разумеется, буду, — увереннее повторила она. И, помолчав с минуту, смущенно добавила: — Ну а вы... Вы держитесь.



— Ох, Ира! Какое! Кончилась жизнь, понимаешь? Сачечка мой ушел — и все закончилось.

Рина окончательно смутилась, забормотала что-то дежурное:

— Да, я все понимаю. И все-таки. Да, и еще. Адрес. Продиктуйте мне, пожалуйста, адрес! — Она отыскала глазами ручку и, взяв ее, почувствовала, как дрожат руки. Валентина диктовала адрес, а она записывала его на обратной странице глянцевого журнала, сто лет валяющегося на журнальном столе, — единственное, что оказалось под рукой. Ручка скользила по блестящей вощенной бумаге и писала отвратительно, но кое-как Рина справилась. Наконец попрощавшись, положила трубку и, плюхнувшись в кресло, закрыла глаза и почувствовала, как дрожит. Так с ней было всегда — реакция на стресс. Дикая дрожь, озноб. В голове были сплошной бардак и сумбур.

Отец. У нее умер отец. А это значит, все ее детские обиды, переживания и комплексы надо оставить в той, давно прожитой жизни и ехать хоронить отца. Да, на работе завал. Но там по-другому и не бывает — у нее всегда цейтнот, завал и *проблемы*. «У нас проблемы» — каждыйдневный рефрен ее деятельности.

Такая работа. Ничего, с работой она разберется. В конце концов, у нее целых два зама, получающих огого какую зарплату. Правда, все они, прости господи, редкостные бараны. Но уж пару дней как-нибудь.

Мама. Говорить ей? Или сказать, что едет в очередную командировку? К этому маме точно не привыкать — она и не заподозрит никакого подвоха. Или сказать? Ведь Александр Николаевич Корсаков ей просто бывший муж, с которым она развелась двадцать семь лет назад, и вряд ли известие о его смерти ее сильно расстроит. Тем паче



мама так далеко. От всего далеко — от Москвы, от всей этой жизни. От прошлого далеко, от воспоминаний — ту жизнь она предпочла забыть, как не было. И, скорее всего, она права.

И от нее, Рины, она далеко. И не только, надо сказать, в прямом смысле.

Да и вряд ли мама в отличие от злопамятной дочери жалела, что этот «изменник, предатель и негодяй» ушел от нее сто лет назад. Ее нынешняя жизнь была удачной, интересной и пестрой — куда удачнее, чем та! Эта жизнь была именно такой, о которой легкомысленная Шурочка мечтала. Так чего ей расстраиваться? И кстати, в последний раз Шурочка видела бывшего мужа именно тогда, «триста лет тому назад». И с той поры прошла целая жизнь.

«Ладно, подумаю, — решила Рина. — Все-таки мама человек немолодой. Кто его знает... С работой решу утром, а вот билет надо бы заказать сейчас, сегодня».

Она глянула на часы и потянулась за родным мобильным, бросив короткий и неприязненный взгляд на городской. И если честно, черт бы его побрал, этот городской, с его занудной и водевильной трелью, с дешевым и пошлым блеском, дурно сделанным под антиквариат. И почему не отключила его? Тогда бы не было этого звонка. И вообще бы ничего не было — поездки в этот дурацкий город К. Похорон. И главное — встречи с «папиной женой», с Валентиной, черт бы ее побрал. С той, которую Рина считала стервой и разлучницей. Мерзкая баба, которая увела у мамы мужа, а у нее отца. В юности Рина ее ненавидела, в молодости презирала и насмеялась над ней, а в зрелости... А в зрелости просто о ней ни разу не вспомнила — где она, эта нелепая провинциальная тетеха, и где Рина?



«Иришка, Иринка», — усмехнулась Рина.

Ириной ее никто давно никто не называл — ни знакомые, ни родственники, ни подруги. Даже мама, очень возражавшая когда-то против «Рины»: «Какая глупость! У тебя прекрасное имя! Звучное, в меру длинное. Да просто красивое! А тут какой-то обрезок трубы — Рина. Вечно твои дурацкие выдумки, вечно ты всем недовольна и хочешь все изменить всем назло!» Мама поджимала губы и недовольно хмыкала, осуждая строптивую дочь. Кстати, во многом мама бывала права: Ирину-Рину многое не устраивало. И в меру сил, возможностей и способностей она старалась это изменить.

Получалось, правда, не все. Но кое-что получалось.

В шестнадцать лет, аккуратно после ухода отца, она переименовала себя — из банальной, как ей казалось, Иры, Иринки, Иришки стала Риной. Имя это казалось ей емким, гордым, коротким и четким. И еще — не банальным. Банальности она презирала. Но главное — оно было жестким. Соответствующим хозяйке. В те годы ей очень хотелось быть жесткой. Что сказать — получилось.

Вдобавок новое имя не подлежало многочисленным трансформациям. Риночка? Да. Ринка? Возможно. Но этим фантазии друзей и близких ограничивались.

Даже в паспорте поменяла — из Ирины Александровны стала Риной Александровной. Отец это не одобрил — нахмурился и пробурчал:

— А что тебе, собственно, не нравилось в твоем имени? Это я тебя назвал в честь своей мамы.

Вот именно — он ее назвал! А он — предатель и изменник. В память о бабушке? Да она и знать не хотела эту бабушку! Эту деревенскую бабушку, мать отца, она и видела-то всего пару раз в жизни! И кстати, сразу невзлюбила. А вот мать ее матери, Мария Константиновна,



была ее настоящей бабушкой. К Мусеньке в Питер, тогда еще Ленинград, Рину отвозили на все длинные праздники и каникулы. С Мусенькой она ходила в музеи и парки, та читала ей книги и учила всяким женским премудростям — как, например, носить шляпку. Хотя какие там шляпки, в Ринино время! Бабушка Маша, ее любимая Мусенька, учила ее красить губы и ногти — образовывала. Например, рассказывала, куда наносить духи, чтобы запах сохранился подольше, — на сгиб локтя и на шею под волосы. Мусенька учила ее правильно есть, сочетать цвета нарядов. Мусенька готовила невероятно вкусные бутерброды с бородинским хлебом, чуть поджаренным на сковородке и украшенным золотистыми шпротами. Мусенька обожала пить кофе в кафе на Невском и покупать пирожные в кондитерской «Север». Вместе они заходили «поболтать» к старинным приятельницам Марии Константиновны — Вере Козловской и Ляле Урбанцевой, таким красоткам и умницам, что Ринино сердце замирало от восторга. Эти пожилые петербурженки были интересными женщинами, да что там — красавицами. А еще — великолепными собеседницами. Рина сидела как мышь, затаившись, почти не дыша, — не дай бог, выгонят или попросят сходить за какой-нибудь ерундой, вроде лимонных вафель или свежей булки. И любовалась ими!

Было им, этим, как ей казалось тогда, пожилым дамам, в те годы всего-то за пятьдесят! Все три были блокадницами.

Поездки в Ленинград — пожалуй, лучшее и самое светлое из детских воспоминаний. Она обожала свою Мусеньку, обожала город и обожала ее подруг со «сложными судьбами». Будучи девочкой, изо всех сил старалась услышать что-нибудь из рассказов об их прежней жизни, уловить и запомнить. Кое-что удавалось, но детский



мозг, пусть хваткий и острый, не мог все сложить и сопоставить — им такое досталось и они такими остались? Непостижимо. Впрочем, у кого из российских женщин судьба была легкая? Тем более у блокадниц и вдов. Рина обожала Ленинград, неспешную в отличие от столичной жизнь, Невский и прилегающие к нему улицы, облупленные дома с глубокими трещинами и отвалившейся штукатуркой, удивительные подъезды с сохранившейся лепниной и роскошными лифтовыми кабинами, витые садовые решетки и перила, камин в комнате Ляли — изразцовый, бело-голубой, «из настоящей голландской плитки», важничала хозяйка.

Рине нравился и уклад их с бабушкой жизни — никаких супов и обедов, никакого дневного сна и вообще никаких обязательств вроде уборки квартиры, мытья посуды, выноса мусора и дневного отдыха с книжкой. Мусенька игнорировала процессы воспитания — обед? Да зачем он нам, если можно пойти на Невский, выпить чаю с пирожным и получить удовольствие? Уборка? Фу, черт с ней! Что важнее — услада души или дурацкая пыль? К тому же дело это неблагодарное, эта уборка. Нет, детка! Мы лучше в кино! К обязанностям, своим и чужим, она относилась с пренебрежением. Не может прийти электрик, водопроводчик, маникюрша или подруга — ерунда. Длинная очередь в поликлинике — ну и что? Все люди болеют, и врачи тоже люди! Портниха не дошла вовремя юбку — пустяки! Жила без нее — проживу и еще пару недель! «Я никогда не обижаюсь, — улыбалась Муся. — Свои дела — они, конечно, важнее. А мы подождем — не пожар».

К посторонним и соседям она была терпима: «Их мнение меня не волнует. А тех, чье волнует, так с ними все в порядке, уверяю тебя!»



Бабушка была беспечной и легкой. «Подумаешь» и «переживем» были ее любимыми словами. Потом Рина поняла: на фоне того, что Мусенька и ее подруги пережили, все действительно выглядело полной чепухой.

При всех аристократических привычках бабушка была крайне неприхотлива — при ее образе жизни, пенсии, понятное дело, хватало на полмесяца, да и то не всегда. «Подумаешь! — хитро улыбалась она. — Как-нибудь проживем, с голоду не помрем! В крайнем случае пойдем по хаткам». «По хаткам» означало случайно заскочить вечером в гости и попасть на ужин. Поначалу Рина приходила в ужас от этого плана. Но все оказалось не так страшно. И Ляля, и Верочка были им искренне рады: «Какая прелесть, что ты, Муся, к нам зашла. Да еще с Ирочкой». И тут же накрывался стол — простой, незатейливый, но очень вкусный. Верочка принималась варить картошку и чистить селедку, а Ляля тут же вставала к плите и «заводила» блины. Это была ее коронка — блины у Ляли получались тонюсенькие, полупрозрачные, кружевные. А дальше — несколько часов разговоров, воспоминаний. Обоим Мусиным подружкам было грустно и одиноко. Правда, одинокой была только Ляля, у Верочки был сын, но, кажется, его сто лет никто, в том числе и мать, не видел — обретался он где-то в Киргизии, служил там врачом в военном госпитале. В Ленинград не приезжал — отпуск проводил на море, с семьей. А деньги, скорее всего, посылал — из трех подруг Верочка была самой «обеспеченной» и «многое себе позволяла». Кое-что из этого «многого» — зимнее пальто, сшитое в закрытом ателье, с воротником из рыжей куницы (куница, споротый воротник, наследство Верочкиной матери, была старше Верочки). Еще Верочка *позволяла себе* купить что-то в кулинарии при гостинице «Астория», например, гусиный



паштет или волованы с красной икрой. Покупала кое-что и у соседки-спекулянтки — например, австрийские сапоги на «натуральной цигее». Именно так говорила Верочка — не цигейка, а цигея.

Ляля была самой бедной. «Пенсия у нее крохотная, — вздыхала бабушка. — У нас-то копейки, а у Ляльки вообще смех».

Потом Рина узнала — замужем Ляля никогда не была. «А как к этому стремилась! — усмехалась бабушка. — Вот дурочка!»

И что забавно — на старости лет у Ляли появился весьма серьезный и солидный ухажер, Иван Матвеевич, бывший военный инженер.

Парочка эта была комичная: крошечная толстушка-коблбок Ляля, в смешных шляпках, из-под которых выбивались седые кудряшки, и высоченный, худой полковник. Бабушка называла его «половник».

— Ну, как твой половник? — спрашивала она подругу. — Еще не надругался над тобой, не лишил девичьей чести?

Ляля злилась, краснела как свекла, надувала пухлые губки и на пару минут обижалась на любимую Мусеньку.

Лет в тринадцать, когда Рина была уже вполне образованной, она догадалась, что Ляля была старой девой. А значит, и девственницей.

Ляля и полковник гуляли по воскресеньям в Летнем, по вечерам ходили в театр или в кино.

«Лялька ведет светскую жизнь! Ну, наконец-то!» — говорила бабушка.

Однажды Рина спросила:

— Ба, а чего она замуж за него не выходит? У него же отдельная квартира, а у Ляли соседи-алкаши. Да и вообще — солидный мужчина.